

ПРОПИЛЕИ

Сборник статей по классической древности, издаваемый
П. Леонтьевым. Книги III и IV. Москва.

1853—1854

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Положение человека, который не приобрел привычки читать книги ни на одном языке, кроме русского, но хочет, однако, познакомиться с всеобщей историей, очень невыгодно. Отрывочные статьи, рассеянные по журналам, — вот почти все, что представляет ему русская литература. В самом деле, можно по пальцам пересчитать заслуживающие внимания русские книги по всеобщей истории: 1) История Афинской республики от убийства Гиппарха до смерти Мильтиада, г. Куторги; 2) О поклонении Зевсу в древней Греции, г. Леонтьева; 3) Судьбы Италии в средние века, г. Кудрявцева; 4) Аббат Сугерий, г. Грановского. Затем остается только лучший у нас учебник г. Лоренца. Итак — отрывок из афинской истории, отрывок из греческой мифологии, отрывок из истории Италии в средние века, отрывок из истории Франции XII века, вот наш собственный исторический архив. Не довольствуясь этими прекрасными отрывками и рассказами учебника, любознательный русский читатель, конечно, должен будет обратиться к переводам исторических книг. Не многим обильнее будут его находки и на этом поле; вот они, все без исключения, какие только имеют хотя малейшее достоинство: «Всемирная история», Беккера (шесть частей, обнимающие древнюю и среднюю историю), — сочинение, заслуживающее чтения только за недостатком лучшего; извлечение из Герена, составленное г. Погодиным; «История Греции», Гиллиса (книга, потерявшая всякую цену и переведенная смесью польского языка с русским, так что ее невозможно читать); «Кесари», Шампаньи (одна отрывок о Нероне); «Рассказы о временах Меровингов», Тьерри; «История крестовых походов», Мишо; «История Карла V», Робертсона (оба эти сочинения далеко не соответствуют настоящему положе-

нию науки, и язык перевода в той и другой книге устарел); «Изображение переворотов в системе европейских государств», Ансильйона (книга также очень устаревшая); «Римские папы», Ранке (дурной перевод) — и конец всему, кроме истории Наполеона, которой посчастливилось обратить на себя особенное внимание переводчиков; на русском языке существуют: «Записки» Бурьена, герцогини Абрантес и Жомини, «История Наполеона», Вальтер-Скотта; «История Консульства и Империи», Тьера (три или четыре тома из десяти), и компиляция Полевого: «История Наполеона». Таким образом, составление полной русской библиотеки по всеобщей истории не разорит и бедняка. Из купленных им книг он довольно подробно (если не довольно хорошо) познакомится с историею Наполеона; затем с удовольствием и пользою прочтает сочинения гг. Грановского, Кудрявцева, Куторги и Леонтьева; узнает очень хорошо времена Меровингов из рассказов Тьерри; узнает кое-что о Нероне от Шампаньи, о крестовых походах от Мишо, о Карле V от Робертсона, о папах XVI—XVII веков, насколько то позволит ему русский переводчик Ранке; а потом? потом может отдыхать на лаврах, справедливо гордясь тем, что поглотил всю историческую мудрость на русском языке, или (и мы советуем ему сделать это) может читать сочинения, доселе остающиеся на русском языке лучшими по своему предмету: «Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассириянах и о греках», Роллена; «Римская история», Роллена и «История о римских императорах», Кревиера и Роллена, все три переведены «трудами и тщанием Василия Третьяковского». Это, повторяем, сочинения еще ничем не заменимые для русского читателя, и да будет почтен нашею признательностью трудолюбивый ученый, который, быть может, и не надеялся, что переводы его будут заслуживать чтения в 1855 году.

Чем же можно объяснить такое странное положение русской литературы по всеобщей истории? Предоставляем каждому читателю объяснять его, чем угодно, а нам кажется, что тут нечего и объяснять: «на нет и суда нет». Просмотрев другие отделы наук, мы увидим то же самое, что в историческом отделе; следовательно, факт имеет такую всеобщность, которая очень ясно говорит о своих причинах. Если не издаются книги, то, вероятнее всего, потому что нет на них требования. Кому эта причина кажется недостаточною, может отыскивать другие.

Как бы то ни было, но интересно следующее замечание. Большая часть исчисленных нами сочинений переведена в 1830—1840 годах; два или три принадлежат 1840—1850 годам; в последние пять или шесть лет не было переведено ни одно историческое сочинение, заслуживающее внимания¹. Если угодно, можно объяснить это упадком книжной торговли.

Никто не удивится малочисленности оригинальных сочинений,

издаваемых у нас по всеобщей истории: силы большего числа современных ученых, занимающихся историей, сосредоточены на разработывании русской истории; это очень естественно. Несмотря на все многочисленные и прекрасные труды по этой части, мы еще слишком недостаточно знакомы с нею, и русская история, важнейшая для нас, как своя родная, с тем вместе есть самая привлекательная для неутомимых исследователей и потому, что обещает самое обильное поле для новых открытий, самостоятельных взглядов, вообще для приобретения ученой славы. Кроме того, приятно трудиться на таком поприще, где труд оценивается по достоинству читателями; а у нас теперь уж есть публика, если не слишком многочисленная, то все же состоящая не из десяти или двадцати человек, способная основательно судить о достоинстве трудов по русской истории. Между тем люди, издающие сочинения по другим частям истории, до сих пор остаются одиночками, едва находя несколько разрозненных ценителей своим трудам.

Потому нет ничего удивительного, если этих трудов является очень мало. Но почему бы, казалось, не знакомить русскую публику с лучшими сочинениями по всеобщей истории посредством переводов? Работа эта неутомительна; успех ее не мог бы, кажется, подлежать сомнению; понаслышке всякий знает о важнейших достоинствах знаменитейших исторических сочинений; притом же большая часть из них писаны очень увлекательно и могут всякого, сколько-нибудь любящего чтение человека заинтересовать не только содержанием, но и самым изложением. А между тем все-таки они остаются у нас известны только по именам. Найти причину тому чрезвычайно трудно для того, кто не захочет удовольствоваться прекрасною половицею, на которую сошлись мы выше.

Ужели, в самом деле, историческая литература не нашла бы у нас ни поддержки, ни сочувствия со стороны публики? Но ведь этот вопрос совершенно равняется другому: неужели любознательность не привилась еще к нашей публике? Потому что, какою отраслью знания может интересоваться публика, которую не интересует история? Можно не знать, не чувствовать влечения к изучению математики, греческого или латинского языков, химии, можно не знать тысячи наук и все-таки быть образованным человеком; но не любить истории может только человек, совершенно неразвитый умственно.

Или публика может довольствоваться двумя-тремя историческими статьями, которые поместил журнал в течение года? Все наши журналы, какими бы титулами они себя ни называли, по преимуществу литературные; ни один из них не может уделять более четырех или пяти листов в месяц чисто ученому отделу; иначе он изменил бы своему существенному назначению. Можно до некоторой степени понять возможность того, что журналы наши поглотили беллетристику, хотя это не свидетельствует о массив-

ности объема поглощенной ими отрасли литературы; но каким образом немногие страницы отдела наук могут — не говорим поглощать науку, но даже удовлетворять тех читателей, которые интересуются чем-нибудь, кроме беллетристики? Ужели довольно прочесть три-четыре печатных листа, чтоб удовольствоваться на целый месяц?

Или все наши любознательные люди удовлетворяют своей жажде знания чтением на иностранных языках? Об этом редко случается слышать; но постоянно слышится общая мысль, будто б у нас публика чрезвычайно пристрастилась к иностранным книгам. Мнение совершенно ложное. Во всех других европейских землях чтение на иностранных языках вошло в нравы публики гораздо глубже, нежели у нас. Можно видеть в русском обществе какие угодно недостатки, но уж наверное самый неосновательнейший из упреков — мнимое пристрастие к иноземному, о котором так часто толкуют, и тем подтверждают известную аксиому, что каждый любит обвинять себя в тех недостатках, которых не имеет, с чрезвычайною осторожностью избегая прикосновения к своим действительно слабым сторонам. Нет народа, который не любил бы своего родного, нет народа, который не уважал бы себя до чрезвычайности, начиная от китайцев и кончая северо-американцами.

Русских часто сравнивают с северо-американцами, по большей части несправедливо; но эти два народа, столь противоположные, совершенно сходятся между собою в том, что у обоих чувство национальной гордости развито необыкновенно сильно, как ни в одной из других цивилизованных наций. Русский издавна привык считать свой народ первым в мире. И, чтоб указать пример, скажем опять, что ни в одной из европейских земель не читают так мало на иностранных языках, как в России. Разве у нас было бы возможно перепечатывать французские книги (о них исключительно идет речь, когда говорят о пристрастии к иностранным языкам), как, например, перепечатываются в Лейпциге английские и, до запрещения перепечатки, в Париже не только немецкие и английские, но даже итальянские и испанские? Да у нас это разорило б издателя. «Revue Etrangère», этот очень маленький по объему журнал, имеет возможность существовать только благодаря своей чрезвычайно высокой цене. Откуда ж взялось предубеждение, будто бы у нас чрезвычайно много людей, любящих читать по-французски? Оттого, что наши беллетристы до самого последнего времени преимущественно принадлежали или старались показать, что принадлежат к немногочисленному кругу людей, воспитываемых на французском языке (кругу, который в Англии и Германии гораздо обширнее, нежели у нас), и привычки этих немногих переносили на все общество, вовсе не причастное великосветскому блеску. Одним словом, мнение о пристрастии к иноземному настолько же выдерживает критику, как

существовавшие когда-то у нас повести из великосветской жизни, и ему давно пора б исчезнуть, подобно этим повестям.

А если чтение беллетристических произведений на французском языке очень мало распространено в нашем обществе, то еще слабее привычка читать серьезные книги на иностранных языках. Конечно, люди, по призванию занимающиеся ученою или литературною деятельностью, ни в одной из европейских земель не могут избавиться от этой необходимости; но и тут надобно сказать, что у нас они гораздо чаще, нежели, например, в Германии или Франции, ограничиваются только одним из иностранных языков. Но мы говорим не о них. Гизо переводится на английский язык не для Маколея и Ранке на французский не для Тьера. Во всех нациях число любознательных людей, читающих книги только на своем языке, бесконечно превышает ту горсть людей, которым легко доступны чуждые литературы. Потому наука делается достоянием общества только в той мере, в какой передается на его языке. И ни об одном из европейских народов нельзя сказать этого так полно, как о русском. Это известно каждому, кто живет не исключительно в ученом или литературном кружке.

Какие длинные рассуждения, чтоб доказать простую истину, что у нас, как и везде, на одного читающего иностранную историческую книгу должны приходиться если не сотни, то наверное десятки людей, желающих прочесть ее на родном языке! Что делать! Чувствуешь потребность оградить самого себя, не только других, от сомнений в существовании этого факта, когда видишь, как мало отражается он в нашей действительной литературной жизни, когда видишь, что исторических книг на русском языке нет (кроме книг по русской истории) — поневоле чувствуешь влечение усумниться в существовании потребности на них. Быть и не обнаруживаться² — какое странное сочетание качеств у этой загадочной любознательности! Много трудных противоречий соглашала некогда немецкая философия; но этого не могла б согласить и она. Нет, никакие соображения не могут доказать существование того, что не обнаруживается; сказать: «да, я не сомневаюсь», все-таки зависит от доброй воли. Потому, не считая других обязанными непременно разделять наше мнение, мы принуждены ограничиться, по правилам старинной логики, условным силлогизмом: если в обществе есть любознательность, то эта любознательность должна быть более всего обращена на историю; а если есть потребность исторической литературы, то очень прискорбно и еще более удивительно, что историческая литература не существует или почти не существует. Мы хотим думать, что любознательность и потребность есть. Другие могут думать иначе, если у них достанет на то твердости характера.

Но мы видим в «Прописях» удовлетворение той потребности исторической литературы, которую хотим признавать. Попреж-

нему или даже более, нежели прежде, остается совершенно скудна наша литература по средней и новой истории. По крайней мере, благодаря изданию г. Леонтьева, на русском языке ежегодно выходит теперь прекрасная книга по древней истории. Мы не хотим пока говорить о безотносительных достоинствах «Пропилей» — об этом после — в настоящем положении нашей литературы «Пропилей» представляют драгоценнейшее для нас явление уж потому, что служат единственным органом ученой деятельности по всеобщей истории на русском языке.

Нет надобности много говорить о том, как важен в истории отдел, занимаемый классическим миром. Довольно указать несколькими словами на главнейшие причины, по которым тесное знакомство с греческою и римскою жизнью доселе продолжает считаться одним из необходимейших знаний в круге общего образования. Римляне и особенно греки достигали такой степени цивилизации, что новая Европа только в самое последнее время, говоря вообще, стала выше их. До начала или даже до половины прошедшего века древние сохраняли перед новыми решительное преимущество в большей части сторон умственной и даже материальной жизни, по справедливости считались учителями наших европейских предков. Теперь вообще отношение изменилось. Новая Европа превзошла своим развитием цивилизацию классического мира; тем не менее очень во многом еще остаются для нас греки примером. Мы говорим не только о их скульптуре и архитектуре, но также и о многих более существенных сторонах жизни³. Кроме того, даже и в тех отраслях развития, где мы стали выше древних, чрезвычайно поучительно знать, как думали и действовали гениальные предшественники при совершенно других условиях жизни. Сравнивая текущие вопросы с общим историческим ходом классического мира, мы легче понимаем существенный ход событий и в новой Европе. Наконец, каково бы ни было значение классического мира относительно новейшей цивилизации, его история приобретает чрезвычайную важность в системе общего образования потому, что обыкновенно обрабатывается гораздо полнее и удовлетворительнее для истинной любознательности, нежели история новой Европы. Давно уж все толкуют о том, что история должна знакомить нас с ходом развития обществ и народов, а не только с военными событиями и сухими именами, не имеющими существенной важности для нравственной и экономической жизни народов. Но до сих пор только при изложении древней истории эти понятия довольно заметно прилагаются к делу большею частью историков. Греческие мифы, законодательство Ликурга, общественные отношения в Спарте и Афинах, развитие наук и искусств, торговли и нравов — все это более или менее обращает на себя внимание каждого, пишущего о греческой истории; возникновение и развитие общественных отношений в Риме подробно излагается в каждой

книге, называющейся римскою историею. Очень редко можно встретить такой объем содержания в книгах, говорящих о новой истории. Две-три сухие фразы о порче или улучшении нравственности, краткий и бесплодный перечень известнейших ученых — вот все, что мы найдем в большей части сочинений, излагающих историю Франции, Англии, Германии. Потому надобно сказать, что, при ныне господствующем характере изложения, из всех отделов истории древней — самый способный удовлетворять любознательности читателя, желающего знать историю в истинном ее смысле. Быт народов доселе излагает одна только древняя история.

Так уж самое заглавие, которое дал г. Леонтьев своему изданию, выражает, что этот сборник преимущественно посвящен самой важной части истории — быту народов; он называет свои «Прописки» сборником статей по классической древности; подобное заглавие едва ли было бы найдено для сборника статей по новой истории, потому что трудно найти даже слово, которое выражало бы огромную важность изучения быта в истории новых времен, как выражает его слово «древности», когда говорится об отдаленных временах. Заглавию соответствует и содержание сборника, в котором равно обширное место с рассказами о событиях занимают статьи по истории литературы, искусства, о нравах и общественных отношениях. Едва ли кто-нибудь захотел бы уступить две трети страниц этим последним отделам, издавая сборник по новой истории; а если бы и захотел, не нашел бы статей. На десять человек, занимающихся исключительно громкими событиями и именами, едва ли найдется между исследователями новой истории один, обращающий главное внимание на развитие истинно важных вопросов и элементов исторической жизни.

Ученое издание, подобное «Пропискам», должно иметь на русском языке двойную цель: во-первых, знакомить русских читателей с классическим миром, передавать факты из его жизни и понятия о них, насколько они уж утвердились в современной науке; если мы не ошибаемся, сам издатель, посвящая свою деятельность в первых трех книгах преимущественно трудам подобного рода, считал эту цель важнейшею. Она действительно и придает живое значение его сборнику. Мы видели, каково обилие русской литературы по древней истории; положение дела таково, что более или менее остроумные, глубокомысленные исследования о специальных вопросах, которые могут быть очень важны для специалистов, но лишены значения или недоступны для большинства любознательных людей, для нас вовсе еще не так нужны, как основательные трактаты о важнейших и общественно-предметных науках; пусть эти статьи будут представлять мало неизвестного глубоким специалистам, стоящим совершенно в уровень с развитием науки, — число таких читателей у нас очень ограничено. Огромное большинство людей, удовлетворять

потребностям которых должно русское издание по всеобщей истории, желает не столько того, чтоб им двигалась вперед наука в абстрактном смысле, а того, чтобы раздвигались границы знания, доступного русскому читателю. Пусть большая часть помещенных в «Прописях» статей не содержит в себе почти ничего нового для их ученого издателя; если эти статьи будут написаны основательно, они будут совершенною новостью для девяноста девяти из ста его читателей. Распространить в публике знакомство с классической древностью, вот для чего собственно и нужно издание, подобное «Прописям». Но само собою разумеется, что статья, подписанная именем известного ученого, или проливающая новый свет на один из темных вопросов науки, должна также с радостью быть принята во всякое издание, на каком бы языке оно ни печаталось. Делая многое для многих, тем приятнее дать что-нибудь приятное и для немногих; поставляя главной целью издания общую пользу, бесполезно сообщить ему и чисто ученый блеск, украсив его несколькими статьями, имеющими высокое достоинство не только для читателей, но и для самой науки.

В этом отношении есть очень заметное различие между характером двух томов «Прописей», которые мы теперь рассматриваем. В третьем преобладают статьи, имеющие главной целью передать на русском языке в самостоятельной форме результаты, которых уже достигла наука, или вообще содействовать распространению у нас знакомства с классической древностью; в четвертом, напротив, большая часть статей занята исследованиями о специальных вопросах и имеют в виду не столько массу читателей, сколько самую науку. Будем и за тот и другой том благодарны издателю; пожелаем только того, чтобы в следующих томах его полезного и прекрасного издания нашлось опять место для второго отдела, представляющего «сведения о трудах новейших ученых», как находилось оно в первых трех томах: мы уверены, что общий приговор читателей признавал, например, статьи г. Леонтьева, заключающие подробное критическое изложение «Истории Греции» Грота, принадлежащими к числу самых важных во всем издании. Быть может, даже многие скажут, что для них было бы приятно, если б две или три из статей о древностях и развалинах северного берега Черного моря были отложены для следующего тома с тем, чтобы дать в четвертом место продолжению статей ученого издателя о Гроте или г. Грановского о лекциях Нибура. Надобно желать расширения, а никак не стеснения или прекращения прекрасному второму отделу «Прописей». Вот единственное замечание, какое может сделать самая строгая критика изданию г. Леонтьева, взятому в целом.

Обозревая отдельные статьи, помещенные в двух последних томах «Прописей», мы распределим их по характеру содержания на относящиеся к литературе, искусству, нравам и собственно так называемой истории древнего мира, относя к последнему раз-

ряду и чисто археологические статьи о древностях северного берега Черного моря.

Первое место в литературном отделе «Пропилей» все читатели, конечно, отдадут началу перевода «Илиады» (песнь первая и большой отрывок из второй) Жуковского. Эти остатки недоконченного труда, которым хотел увенчать Жуковский свою поэтическую деятельность, напечатаны, с отдельной нумерацией страниц, в четвертом томе. По той же системе, какой следовал поэт при переводе «Одиссеи», он поручил немецкому филологу, г. Фишингеру, приготовить для себя подстрочный немецкий перевод «Илиады», и перелagal этот перевод в русские стихи.

Нет сомнения, что отрывки «Илиады», являющиеся теперь, возбуждая до некоторой степени внимание публики к вопросу о переводе Гомера на русский язык и в особенности о переводах Жуковского. В самых «Пропилеях» явилась уже написанная по этому поводу статья г. Каткова: «Несколько слов о попытках перевести Гомера простонародным языком». Потому считаем обязанностью несколько остановиться на этих вопросах. Г. Катков совершенно справедливо доказывает, что переводить «Илиаду» простонародным языком, как пытались некоторые, такая же вопиющая несообразность, как, например, переводя комедии Аристофана, заменять особенное наречие спартанских послов мало-русским или костромским. Это значило бы сообщить переводу колорит, не свойственный подлиннику, делать фальшивый перевод. Совершенно справедливо. Но именно по этому самому невозможно согласиться с мнением г. Каткова, что Гомер может быть переводим устарелым языком. Он говорит:

Гомерические песни должны были во многом иметь для грека образованной эпохи характер архаический, старинный, отчасти именно такой, какой имеет для нас язык славянский. Эпический язык был у греков запечатлен значением священного и очень отличался от литературного языка, как он установился в позднейшее время. Нам даже кажется, что русский переводчик Гомера поступил бы весьма нерасчетливо, если бы не воспользовался богатою сокровищницею славянского языка и не черпал из нее характеристических красот. Еще более может послужить для этой цели изучение старинных, собственно русских, светских памятников нашей письменности — грамот, летописей, юридических актов.

Нам кажется, что и славянский или летописный, устарелый, элемент в переводе Гомера будет точно так же сообщать ему чуждый, фальшивый колорит, как сообщает, по справедливому мнению г. Каткова, простонародное наречие. Народностей не должно смешивать, говорит г. Катков. Точно так же нельзя смешивать и исторических воспоминаний. Агамемнон не Димитрий Донской, и если греческая хламида не зипун, то и не боярская ферязь. Странно, как г. Катков допускает подобное превращение, сам говоря, что «при существовании литературного языка, формы речи, не вошедшие в него, не могут быть употребляемы для перевода с чужого языка; не могут, потому что за ними, как тень, следит

их местное значение». Он сам говорит, что перевод всегда по необходимости сглаживает колорит подлинника, но не должен придавать ему чуждого колорита. «Уж лучше покажите нам Гомера в каком-нибудь неопределенном костюме, нежели в кафтане удалого русского ямщика; пусть уж лучше старый рапсод будет представляться нам неясно, в тумане, чем жалким образом кривляться перед нами и корчить нашего приятеля казака Киршу Данилова», — ясно, что по смыслу речи должно прибавить: или чем сидеть неподвижным боярином времен Алексея Михайловича, или рассыпаться расторопным и неуклюжим дьяком Андреем Щелкаловым. «Для перевода гомерического эпоса нужно свежее слово», говорит сам г. Катков; а в летописях и грамотах свежести несравненно меньше, нежели у Кирши Данилова. Одним словом, кто внимательно прочтет очень основательные соображения г. Каткова, тот выведет заключение, что по возможности простой и свежий литературный язык — единственный, пригодный для Гомера в русском переводе.

«Одиссея» в переводе Жуковского не имела успеха⁴, какого надеялись большая часть из нас, потому что язык ее очень искусственный. Сверх того находим принужденность слога, которая усиливается слишком буквальным подражанием подлиннику в расстановке слов, очень часто неестественной для русского языка. Все это осталось в таком же виде и в переводе «Илиады»:

Гнев нам, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,
Гибельный гнев, приключивший Ахеянам много великих
Бедствий и воинов многих бесстрашные души низведший
В область Аида...

Слог этот, может быть, очень художествен, но вместе с тем по-русски он выходит очень искусствен и тяжел в чтении. Но вопрос о языке сам собою решится, если решится вопрос о том, удачно ли выбран для перевода гекзаметр. От качеств, которые неразрывно сроднились в русском языке с этим размером, всего более зависит и натянutosть слога, которою отличается все писанное по-русски гекзаметром.

Гекзаметр обыкновенно превозносится у нас, потому что мы наслушались похвал гибкости, благозвучию и т. д. греческого гекзаметра и потому, что писать сносные гекзаметры умеют у нас немногие, а все трудное высоко ценится. Но, собственно говоря, русский гекзаметр не имеет тех достоинств, какими отличается греческий, и совершенно нейдет к системе нашего стихосложения, нарушая коренные требования нашей поэтической речи.

В греческом гекзаметре спондеи (соответствующие нашим хорям) беспрестанно перемешиваются с дактилями; потому гекзаметрические стихи самых разнообразных размеров беспрестанно перемешиваются между собою (всех форм гекзаметра тридцать две). У Гомера очень редко можно встретить два к ряду гекзаметра одинаковой формы и, вероятно, ни разу не встретится к

ряду трех одинаковых стихов *. Это качество и ставят главным достоинством греческого гекзаметра, оно причиною того, что он гибок, благозвучен, разнообразен. Напрасно стали бы искать разнообразия стоп в русском гекзаметре: он почти постоянно состоит из однообразных дактилей с однообразным хореем на конце **. Вообще, собственно говоря, русские гекзаметры следует считать не гекзаметрами, т. е. стихами, в которых дактиль постоянно смешивается с хореем, а просто дактилическими стихами, в которых изредка, невзначай, попадаются хорейские стопы, довольно частые для того, чтоб раздражать ухо неправильным нарушением дактилического размера, но слишком редкие для того, чтоб ухо привыкло к этому нарушению и ожидало его, как чего-нибудь правильного. Потому лишенный разнообразия, главного своего достоинства в греческом языке, гекзаметр остается какою-то утомительною и вялою прозою, читаемою наподобие стихов, и допускающею все натянутости, напыщенности в языке, непозволительные в прозе, не вознаграждая их увлекательностью, какая принадлежит стихам, понятным для народа. Беспреданное перенесение фразы из одного стиха в другой, совершенно противное духу нашего стихосложения, окончательно убивает всякую возможность читать гекзаметр, как размер, понятный русскому уху ***. Мы не знаем, как пели рапсоды свои гекзаметры; но ни

* Вот, например, стопы первых стихов «Одиссеи»:

дактиль, дактиль, дактиль, дактиль, дактиль, спондей,
дактиль, спондей, дактиль, дактиль, дактиль, спондей,
спондей, спондей, дактиль, дактиль, дактиль, спондей.

Продолжив разбор, мы увидим, что разнообразие все увеличивается. В каждых пяти стихах мы найдем, по крайней мере, четыре различных размера. Одинаковых в ряду почти не бывает.

** Вот, например, начало «Одиссеи» в переводе Жуковского (мы берем «Одиссею», а не отрывки «Илиады», теперь изданные, потому что Жуковский успел, по справедливому замечанию издателя, придать окончательную отделку только начальным стихам своего последнего труда); отмечаем курсивом хорей:

Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который,
Странствуя долго со дня, как святой Илион им разрушен,
Многих людей города посетил и обычай видел,
Много и сердцем скорбел на морях, о спасеньи заботясь
Жизни своей и возврате в отчизну спутников; тщетны
Были однако заботы, не спас он спутников; сами
Гибель они на себя навлекли святотатством, безумцы,
Съевши быков Гелиоса, над нами ходящего бога, —
День возврата у них он похитил. Скажи же об этом
Что-нибудь, о Зевесова дочь, благосклонная Муза.

Затем опять начинаются бесконечным рядом чистые дактили. Вообще, на целую сотню стихов едва приходится в «Одиссее» у Жуковского восемь или девять, в которых попадаетеся хорей, да и те опять часто стоят рядом, производя новую монотонность.

*** Впрочем, не только русскому, но точно так же и немецкому.

один русский не скажет, чтобы возможно было петь следующее:

Но когда наконец обращением времен приведен был
 Год, в который ему возвратиться назначили боги
 В дом свой, в Итаку (но где и в объятиях верных друзей он
 Все не избег от тревог), преисполнились жалостью боги
 Все. Посидон лишь единый упорствовал гнать Одиссея...

А стихи, которых невозможно пропеть, едва ли заслуживают имени стихов. И надобно прибавить, что мы, не понимая разнообразия размера, в этом раздирании и перепутывании фраз поставляем существенное достоинство гекзаметра. В русском оно попадает втрое чаще, нежели в греческих гекзаметрах. Так всегда бывает с искусственным подражанием: упускаются из виду существенные качества оригинала, зато утрируются его странности. Есть в гекзаметре и другие противоречия основным требованиям русского мелодического стиха. Пока нам кажется достаточно и этого основания, чтобы сказать, что он ненатурален в нашем языке. Но если не гекзаметром, то каким же размером переводить Гомера? Каким вам угодно из тех, музыкальность которых понимает русское ухо: ямбом, хореем, дактилем, амфибрахием, анапестом, если угодно, правильным смешением ямба с анапестом или хореем с амфибрахием⁵ — только таким размером, который легче всего для переводчика и с тем вместе не дик и не вял для русского уха. Легкость — необходимое условие для удачного перевода Гомера. Стих его очень гармоничен по-гречески — русские стихи без рифм вялы, тяжелы, скучны; потому необходимы в переводе Гомера рифмы. Но они стеснительны? — Кто не может владеть рифмою, но, однакож, непременно хочет прославиться переводами с греческого, может перевести Геродота или Фукидида, чем окажет великую услугу русской литературе. — А как же можно нарушать размер подлинника? Но если так, французские стихи пришлось бы переводить силлабическим размером, а арабские — размером, для которого у нас не существует и названия. Буквальность не есть близость, а только несообразность.

Так, например, «Хвастливый воин», комедия Плавта, переведена г. Шестаковым слишком буквально, так что через это теряет колорит подлинника: у Плавта, из всех латинских поэтов, самый непринужденный язык. Верность перевода вовсе не требует того, чтобы в русском слоге сохранять особенные обороты, свойственные только латинскому языку. Вообще, латинские и греческие драматурги чрезвычайно нуждаются в особенном изяществе перевода; их пьесы так отличаются от наших своею манерою, что даже и при чрезвычайной легкости перевода читаются довольно тяжело. Надобно также прибавить, что, переводя стихотворное произведение прозою, вообще мы не можем держаться буквально всех оборотов подлинника: они часто обуславливаются самою формою стиха, так что, лишившись ее при переходе на

другой язык, фраза часто должна бывает или распутаться, или сократиться, или быть пополнена, чтобы не казаться странною и не мешать ровному ходу речи. Нет надобности прибавлять, что перевод г. Шестакова сделан добросовестно. Мы хотели бы поговорить о значении Плавта, его влиянии на Мольера и через Мольера — на новейшую литературу, но нам остается говорить на этих страницах еще о многих важных статьях, из которых две имеют даже свою историю, это именно — «Очерки древнейшего периода греческой философии», г. Каткова, и «Письма из Рима и Неаполя», г. А. А. Авдеева.

«Очерки древнейшего периода греческой философии» — статья очень хорошая, имеющая, как и многое на свете, свои недостатки, но имеющая и неоспоримые достоинства. Главным достоинством ее было бы то, — если б она первая явилась на русском языке по этому предмету; но когда-то в одном из наших журналов была статья подобного содержания, писанная очень замечательным мыслителем⁶. Следственно, главное достоинство, которое могли б иметь «Очерки», уж нельзя присвоивать им. Зато остаются у них другие хорошие качества: достаточная полнота, основательность. Есть, как мы сказали, и недостатки — чрезвычайно презрительный тон, с которым автор говорит о разных немецких ученых, сравняться с которыми мы ему от души желаем; темнота выражений такого рода: «прежние понятия об этом были ошибочны, из нашего изложения, напротив, видно» — при чем для ясности надлежало бы прибавлять, что «прежние» ошибочные понятия уж несколько десятков лет тому назад заменены теми самими, которые очень основательно выводятся ученым автором. Здесь-то и нить завязки романа, по выражению Гоголя. Рецензент одного из наших журналов⁷, самым наивным и горячим образом приняв к сведению все эти фразы и презрительные отзывы, написал очень длинный разбор, в котором доказал как $2 \times 2 = 4$, что до появления «Очерков» никто в целом мире не понимал духа древнейших греческих философских систем, что все философы ошибочно толковали системы Фалеса, Пифагора и проч., что «Очерками» положено первое основание истории философии, и т. д. и т. д. Ясно было, что неопытный панегирист слишком далеко увлекся в своих безмерных похвалах, основанных единственно на изучении статьи г. Каткова и незнакомстве с курсами истории философии. Один из людей, знающих, как надобно предполагать по его статье, истинное положение науки⁸ несколько ближе, вздумал напечатать в «Москвитянине» статью, очень убедительно доказавшую рецензенту, что надобно осторожнее судить о предметах, когда незнаком с сущностью дела. Статья была направлена против рецензента и наполнена похвалами достоинствам «Очерков»; она даже признавала в них новость некоторых взглядов и очень высокую степень самостоятельности, одним словом, была также не совсем умеренна в похвалах. Тогда автор «Очер-

ков» напечатал в одной из следующих книжек того же «Москвитянина» огромную статью в 68 страниц, на которых и доказал, что похвалы рецензента, написавшего панегирик, несколько не преувеличены, что «Очерками» действительно в первый раз от изобретения финикиянами азбуки положено основание истории философии, которая и не существовала до минуты появления «Очерков», что все прежние труды (несравненно превосходящие достоинством его «Очерки») действительно никуда не годятся, писаны людьми тупоумными и невежественными, и т. д.⁹ Все это сопровождалось приличным количеством бесцеремонных укоризн противнику (который вовсе и не нападал на «Очерки» г. Каткова), укоризнами, каких в течение двух тысяч лет никто не возвергал даже на злосчастного Зоила. А противник был действительно достоин некоторого осуждения разве за то, что хотя и нападал на панегириста, но все-таки хотел видеть самостоятельность и высокое значение для науки в одной из очень обыкновенных статей, которые могут свидетельствовать только об основательном знакомстве своего автора с предметом, но и только; хотел видеть особенное значение для науки, не привившейся у нас, в такой статье, которая и у нас не может быть названа лучшею по своему предмету. Какую философскую или психологическую мысль можно вывести из подобной истории? Таковую, что панегирические критики, основанные единственно на восторге, могут иметь самое вредное влияние.

Напротив, история, возникшая по поводу «Писем из Рима и Неаполя» г. Авдеева, кончилась для автора совершенно иначе, именно в его пользу. Около того самого времени, как один рецензент провозглашал, что положены основания истории философии, другой рецензент необыкновенно удивился, прочитав у г. Авдеева описание римского храма св. Петра, который все мы, профаны в деле архитектуры, привыкли понаслышке считать первым по художественной красоте созданием искусства. Г. Авдеев, занимаясь архитектурой как специалист, объяснил, довольно понятно и для нас, что хорош в храме св. Петра только один купол, а все остальные части плана не выдерживают даже снисходительной критики. За это рецензент объявил его невеждою и упрекнул г. Леонтьева, зачем он печатает такие невежественные суждения в своем сборнике. В следующем томе «Пропилей» г. А. А. Авдеев принужден был доказать, что мнение, которого он держится, господствует между всеми людьми, имеющими понятие об архитектуре¹⁰. Он превосходно заключает свой ответ словами, которые могли бы служить эпиграфом ко многим из разборов разных прославляемых произведений литературы или науки:

«Архитектору все-таки нельзя не порадоваться за свое искусство. Чтоб взяться построить что-нибудь, надобно быть по крайней мере простым плотником или каменщиком. А в литературе, видно, и карточный домик идет иногда за строенье, и, что еще обиднее, без шума его даже не сдунешь».

Г. Бессонов избрал слишком сухой предмет для своего рассуждения, объясняя на 80 страницах, в какой мере можно доверять «Фастам» Овидия, как источнику для римской мифологии. Специалисты давно знают решение этого вопроса, очень незатруднительное, а большинству читателей он не интересен и не нужен. Если б вместо этого длинного исследования г. Бессонов написал статью об Овидие и его сочинениях или изложил какой-нибудь отдел римской мифологии, труд его принес бы гораздо более пользы. Почти такое же мнение должны мы высказать о разборе Платонова Филеба, который написан г. Меншиковым в доказательство того, что «диалог этот по изяществу формы и художественной своей отделке занимает едва ли не первое место в ряду творений платоновых», несмотря на то, что разрозненность и неровность частей этого разговора поражала еще древних и заставляет многих новейших сомневаться в его целости или «не вполне признавать его высокое достоинство». Пусть многотомное издание творений Платона трактует в одном из своих предисловий, до какой степени основательно то и другое мнение и какой из разговоров Платона занимает первое место в ряду его произведений по изяществу формы: неспециалисты могли б удовольствоваться общим понятием о высоком художественном достоинстве платоновых разговоров и, конечно, скорее желали б увидеть на русском языке или просто перевод Филеба, или хорошее жизнеописание самого Платона, или изложение одной из частей его философии. «Диоген Киник» (перевод из Гёттлинга) также не может быть назван произведением особенно удачным; многие соображения Гёттлинга решительно неуместны. Но мы должны похвалить статью г. Благовещенского «о пантомимах» за выбор интересного предмета и занимательность рассказа, нимало не вредящую основательности исследования.

Из статей о римских нравах — «Брак и свадебные обряды древних римлян», г. Тихановича, составлена недурно. Законный брак у римлян бывал двух родов — с поступлением (жены) под власть (мужа) и без поступления под власть. В первом случае вся собственность жены, даже ее приданое, передавалось мужу; он был судья жены, мог, вместе с родственниками, произносить ей даже смертный приговор; зато по смерти мужа она делалась его наследницею. В браке без поступления под власть мужа жена продолжала оставаться членом прежней своей семьи, пользовалась своим имуществом, зато не была наследницею по мужу. Этот обычай появился в Риме позднее, но мало-помалу вытеснил из жизни первую форму брака и был шагом к эманципации, которой в последнее время республики достигли римские женщины. Двоеженство никогда не было известно римлянам. Обручальные кольца были уж в обыкновении у них. Май месяц признавался, по народному предрассудку, неблагоприятным для свадеб, как и у нас. Идя в дом жениха, невеста должна была показывать вид,

что ее уводят насильно, — опять сходство с нашим народным обычаем. Так, обычай требовал, чтоб она сама не переступала через порог дома жениха — ее переносили через порог — церемония, служившая воспоминанием о похищении невест в древнейшие времена.

«День в Римском цирке» — статья Августа Данца, написана очень живо и составлена очень внимательно. Немецкий ученый пересказывает подробно описанные историками великолепные игры, которые дал Калигула в день своего рождения, и дополняет эту картину известными нам из других случаев сведениями о цирке. Все, что только бывает великолепнейшего на наших театрах и народных праздниках, ничтожно в сравнении с невероятною роскошью, какою удивляли мир игры Римского цирка. Внутренняя площадь или арена его имела до 310 сажен (более полуверсты) в длину и более 90 сажен в ширину. Места зрителей, шедшие амфитеатром в 50 рядов, отделялись от арены каналом в 10 футов ширины и 10 футов глубины. Цирк вмещал, по словам Дионисия, 150 000, а по словам Плиния, до 260 000 зрителей. Однако он не мог вмещать и половины желающих; Тиберий оставил своему преемнику 150 миллионов руб. серебром в казначеище — и в пять месяцев Калигула истратил их на игры. Уж из этого можно судить о роскоши игр. Но для главного торжества был назначен день его рождения. Со всей империи везли на игры диких зверей и вели лошадей. Со всех концов мира стекаются зрители. С полночи накануне игр масса уж ломится в цирк; шум ее пробудил Калигулу, и в досаде он велел выгнать палками беспокойную толпу. При этом были задавлены двадцать римских всадников и столько же дам, кроме множества простолудинов. Но подобные пустяки не останавливают любопытства. На рассвете цирк уж полон. Огромная арена, вместо обыкновенного песка, усыпана зеленым малахитовым порошком, по которому выведены узоры полосами киновари; малахит покрывает арену потому, что Калигула держит сторону зеленых против синих (все участвующие в скачках разделяются на эти две партии). Трубы возвещают прибытие Калигулы: впереди необозримой процессии идут ликторы, потом едут и идут телохранители, наконец, сам Калигула на колеснице из слоновой кости, запряженной шестью лошадьми в ряд. Он сам правит лошадьми и медленно объезжает арену, преклоняя хлыст на приветствия народа. За колесницею Калигулы едут сто других колесниц, запряженных четвернею... Процессию замыкают две колесницы, из которых одна запряжена четырьмя верблюдами, другая — четырьмя слонами. Проехав через арену до противоположного конца, откуда начинается скачка, Калигула выбирает себе трех противников из сенаторов и начинает ристание. Конечно, он остается победителем, и народ, в знак восторга, бросает вверх плащи (как у нас подбрасывают шапки). Довольный успехом, цезарь отправляется в свою ложу и дает

знак начинать общие скачки. Римляне, смотря на арену, забыли о всем мире; их укрывает от солнца огромное шелковое покрывало, великолепно вышитое золотом, осеняющее весь цирк, — но Калигула придумал им сюрприз — в полдень, по его знаку, покрывало вдруг снимается, и зрители остаются под жгучими лучами солнца. Выпускать из цирка не велено никого. Римляне четверть часа томятся палящим зноем; но Калигула довольно позабавился их мучениями, цирк застилается густым влажным облаком: насосы, скрытые под ареною и в верхней галлерее цирка, орошают все пространство дождем благоуханных эссенций, которые ручьями стекают по ступеням, и в ту же минуту покрывало опять осеняет цирк. Лошади устали, их уводят отдохнуть; пора закусить и зрителям — тысячи столов с роскошнейшими кушаньями покрывают арену: хозяин угощает свой народ и, кушая сам в ложе, любителю на толкотню и суматоху, с какою бросаются и теснятся к столам сотни тысяч проголодавшихся граждан. Обед кончен, столы приняты, зрители опять сидят по местам, начинается второе зрелище — выступают на сцену дрессированные животные. Два льва преследуют зайцев, ловят их и опять пускают бежать; рыбы в канале плавают, повинувшись голосу своих приставников. По канату, протянутому с верхней галлереей цирка вниз на арену, сходит ученый слон, неся на спине своего жоака. Выносят шесть столов, уставленных кушаньями в золотых и серебряных сосудах; выходят двенадцать слонов, шесть в мужской, шесть в женской одежде, попарно возлагают за столы на приготовленные перины, начинают кушать, как истинно образованные граждане. Потом обезьяны забавляют своими кривляньями.

Но вот начинаются охота и гладиаторские бои. Последних мы не будем описывать, скажем только о битвах с зверями, и они уже слишком возмутительны. Игры начинаются тем, что слон бьется с носорогом, гиппопотам — с медведем; слон и медведь побеждены, они режут в предсмертных судорогах; народ рукоплещет победителям. Потом отворяются все двери карцеров (зверинцев), на сцену бросается множество львов, тигров, леопардов, медведей, гиен — они в ожесточении терзают друг друга. Восемьсот зверей погибают таким образом. Их крючьями вытаскивают из цирка на прилежащие улицы, где с жадностью рвет их голодная чернь, таща домой окровавленные куски на лакомое для голодных кушанье. На арене уже новое зрелище: в один миг 50 страусов, 32 жирафа, 20 зебров, 15 лосей, 100 оленей, 20 слонов, 40 диких лошадей, 60 буйволов наполняют арену, а 36 крокодилов — канал, ее окружающий. Против них выходят жители всех стран света, каждый с своим оружием; сам цезарь, страстный охотник, стреляет из ложи зверей, подбегающих близко. Охота кончилась, и снова чернь влечет по улицам трупы, выброшенные в добычу ей. Кровь покрыла зеленую скатерть арены, кровь стоит озерами. Их засыпают свежим песком, и начинается новый

бой — битвы людей с зверьми. Сначала выпускаются три буйвола — бойцы выказывают свою ловкость, вспрыгивая на спину разъяренного животного, которое мчится по арене до изнеможения, и тогда боец, сильно дернув его за рога, повергает на сцену. Потом выступают против львов и медведей бойцы, вооруженные только крепкими сетями, — они должны запутать в них противника и, безвредного, утащить в клетку. Вот уж много бойцов растерзано в неравной борьбе. Зрителю опьянены запахом человеческой крови — они жаждут последнего акта — и по данному знаку выведены на сцену сотни пленных, вооруженных мечами; отворяются карцеры — и 200 голодных медведей, 400 львов, тигров и гиен бросаются на своих жертв. Все пленные погибли, и жадные звери перед глазами зрителей пожирают полуживых людей. Но Калигула ныне любит сюрпризы — он велит схватить еще двенадцать человек из среды зрителей и бросить на арену. Что ж, ведь надобно пощекотать чувства? Но довольно. Звери, оставшиеся в живых, раскаленным железом загоняются назад в карцеры; трупы бойцов стаскиваются крючьями в огромные подвалы, арена снова усыпается песком, снова чиста — теперь пора повеселиться невинным образом. Посредством особенных машин, на середине цирка является лес; к ветвям деревьев привязано множество редких птиц. В то же время выпускается на арену тысяча страусов, несколько тысяч овец, свиней, оленей, домашней птицы; отворяются ворота цирка, и чернь бешеным потоком врывается на арену. Зрители наслаждаются ловлею, толкотнею, дракою, которая кипит по всей сцене; чтоб еще увеличить сумятицу, из ложи цезаря и нескольких других бросают в толпу марки с обозначением разных подарков. В места сенаторов также бросают драгоценные вещи, билеты на получение домов и поместий — и между сенаторами водворяется также суматоха. Но уж наступает вечер — да и Калигуле наскучило всё. Он встает, за ним пустеет цирк до следующего кровавого праздника.

Нам должно теперь сказать несколько слов о статьях, имеющих предметом описание памятников и изыскания в развалинах Черноморского берега, и затем у нас останутся для следующего обзора исторические исследования и рассказы в теснейшем смысле слова, принадлежащие, без сомнения, к лучшим статьям сборника.

«Керчь и Тамань», г. Беккера; «Древности Томи», его же; «Разыскания на месте древнего Тинаша», г. Леонтьева; «Разыскания в окрестностях Симферополя», графа А. С. Уварова, «О керченских гробницах», г. Линевича, находятся по своему предмету в близкой связи и сообщают множество важных древних надписей и подробностей о вещах, найденных в курганах, так что значительно пополняют материалы для истории того края в греко-римском периоде. Но мы не решаемся делать общий обзор содержания этих обширных статей, потому что при этом воз-

можно избежать ошибок только тому, кто лично осматривал описываемые места. Г. Кёне напечатал в третьей книге «Пропилей» описание музея древностей, принадлежащего г. Монферрану. Г. Кёне считает это собрание, заключающее до 73 замечательных произведений древнего ваяния и множество других древностей, богатейшим из собраний, принадлежащих частным людям в России. Особенно драгоценна в нем превосходная бронзовая статуя Юлия Цезаря, единственная дошедшая до нашего времени. Она была открыта в Риме Н. Н. Демидовым и тотчас тайно вывезена во Флоренцию, из опасения, чтобы дирекция римских музеев, узнав о такой важной находке, не удержала ее в Риме. Даже мраморные статуи Юлия Цезаря, самые бюсты его, очень редки; а находящаяся теперь у г. Монферрана бронзовая статуя — доселе единственная в мире, и, кроме того, по словам г. Кёне, эта статуя в художественном отношении выше всех остальных, принадлежа к числу первоклассных произведений ваяния. Стиль ее, по мнению г. Кёне, указывает на эпоху искусства, современную Цезарю. Вообще, г. Кёне усваивает этой статуе одно из первых мест между всеми известными бронзовыми статуями, которые в художественном отношении ценятся чрезвычайно высоко.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

Древняя история достигла гораздо высшей степени обработки, нежели история средних веков или последних столетий. Беспреданно повторяемые фразы о том, что история должна излагать развитие внутреннего быта народов, а не рассказывать, подобно летописи, сборнику анекдотов или дюжинному роману, разные шумные или эффектные происшествия, — эти фразы по большей части остаются бесплодны в отношении к истории нового мира. Очень мало найдется первоклассных историков, которые, посвящая свои труды исследованиям о средних веках или новейших временах, главное внимание обращали бы, подобно Гизо и Шлоссеру, на развитие существенно важных сторон народной жизни: общественных и экономических отношений, образованности и т. д.; большею частью внимание исследователя занято вопросами об именах, личностях и подробностях разных шумных событий. Но в древней истории истинные понятия о существенном ее предмете уж успели утвердиться и применяются к делу большинством изыскателей; оттого и сочинения о ней, говоря вообще, приобретают для людей, требующих от истории того, чего на самом деле должно в ней искать, такой интерес, какой редко представляют сочинения о последующих временах. Было бы слишком долго исчислять причины, которым обязана обработка древней истории таким направлением; но, между прочими, есть одна, о которой мы должны упомянуть, потому что ею также объясняется положение очень многих основных вопросов

древней истории, к числу которых принадлежат и вопросы, составляющие предмет важнейших по ученому достоинству статей в рассматриваемых нами томах «Пропилей»; эта причина — малочисленность источников. Ученый, который хочет, например, рассказать царствование Людовика XIV или Фридриха II, может представить тысячи фактов и миллионы подробностей, которые не были изложены в такой полноте его предшественниками; тысячи томов печатных материалов, сотни фолиантов, скрывающихся в библиотеках и архивах, представят ему неисчерпаемое богатство данных, и его сочинение может приобрести большое ученое достоинство сообщением новых фактов, хотя бы и ограничивалось изложением так называемой политической истории. Не то с древним миром. Здесь все источники давно уж исчерпаны относительно событий внешней истории, потому что эти источники очень малочисленны. Следовательно, нужно переработать материалы с новой точки зрения, для того чтобы сказать что-нибудь новое и сообщить ученое значение своему труду; от внешней истории необходимо обратиться к внутренней истории, которая мало была разработана прежними исследователями. Но источники древней истории не только малочисленны — они отрывочны и неполны; в этом заключается невыгодная сторона дела. Если и в новой истории, столь обильной материалами, исследование развития народной жизни часто бывает затруднительно по недостатку фактов, то гораздо ощутительнее это препятствие в решении вопросов о жизни древних народов. Часто самые основные воззрения должны быть выводимы здесь из двух или трех указаний, ограничивающихся шаткими, неясными намеками. Особенно должно это сказать о древнейших временах. Потому не удивительно, что решения вопросов, к ним относящихся, бывают разногласны; не удивительно покажется и то, что в предпочтении одного решения другому часто нужно бывает руководиться не положительными фактами, сохранившимися именно о той стране, о которой идет дело, а преимущественно аналогиею с тем, что происходило или еще происходит в других странах. Конечно, в таком случае заключения будут только правдоподобны; но аналогия иногда бывает так поразительна, что трудно подвергать сомнению вывод, которому она благоприятствует. Если же отказаться от ее пособия, то часто надобно будет отказаться от всякого положительного вывода. Нам казались нужными эти замечания потому, что на основании их решается большая часть спорных вопросов из греческой истории, исследуемых в важнейших статьях третьего и четвертого томов «Пропилей». Мы говорим о статьях: г. Леонтьева «Историческая Греция до персидских войн» и г. Куторги «Критические разыскания о законодательстве Клисфена».

Статьи г. Леонтьева об «Истории Греции», составляемые по сочинению Грота, не нуждаются в наших похвалах, которые будут

только повторением общего отзыва. Ученый автор не просто сокращает многотомное сочинение Грота: он, как знаток дела, подвергает основательной критике мнения этого историка, представляет их в связи с трудами других исследователей и принимает из них только то, что кажется ему самому справедливым, показывая причины, по которым нельзя соглашаться с остальным. Таким образом, его изложение, в высшей степени интересное, имеет полное право на имя самостоятельного ученого труда. Обширная статья, помещенная в третьем томе, говорит о «достоверной истории» Греции до персидских войн, служа продолжением прежнему рассказу о мифической Греции. После прекрасной характеристики самой страны в связи с ее влиянием на развитие народа, ее населившего, и общего взгляда на узы, которыми связывались разрозненные греческие племена в одно целое по своему духу, г. Леонтьев рассказывает первоначальную историю Спарты и Афин.

Первым достоверным событием спартанской истории г. Леонтьев, согласно с Гротом, принимает введение Ликургова законодательства около половины IX века до р. х., и в этом случае расходится с мнением ученых, полагающих, что учреждения, приписываемые преданием Ликургу, — древнейшие учреждения дорийского племени, и что они только сохранились у спартанцев, быть может, были развиты ими, но не могут быть сочтены особенным явлением, возникшим исключительно в Спарте, и возникшим так поздно, как утверждает предание о Ликурге. Впрочем, здесь разногласие более в словах, нежели в сущности мнений; г. Леонтьев признает, что так называемые Ликурговы учреждения были в сущности только развитием древнейшего племенного устройства, лежавшего в характере дорийского племени. Существенное разноречие с господствовавшим до последнего времени взглядом мы находим только в одном пункте. Грот и г. Леонтьев отвергают известие, что земля была разделена между спартанскими гражданами на равные участки. Но нам кажется, что возражения, ими представляемые, недостаточны для опровержения обыкновенного мнения. Неизвестно говорит Грот — какими мерами охранялось это учреждение. Но спартанские законы о наследстве и праве отчуждения поземельной собственности не так подробно известны нам, чтобы можно было заключать о несуществовании подобных мер. Нам кажется даже, что исправленный текст Гераклида Понтийского, на котором основывает свои сомнения Грот, свидетельствует, напротив того, о неподвижности поземельной собственности у спартанцев. Вот слова Гераклида: «У лакедемонян считается позорным продавать землю, а из древнего участка это вовсе не дозволено» — итак, земля не продавалась почти никогда, а участки, назначенные в древности, вовсе не могли быть отчуждаемы из рода. Следовательно, неизвестно только, как предотвращалось дробление участков между сыновьями владельца. Но, если вспомним, что вообще число спартанцев

скорее уменьшалось (от беспрестанных войн и других причин), нежели увеличивалось, то должны будем заключить, что в большей части семейств дробление родовых участков не могло быть слишком велико, если б даже и не было принято против него никаких мер. Кроме того, слова Гераклида ясно говорят о «древних участках», неприкосновенность которых была особенно важна для государства. Этим самым сильно подтверждается мнение о древней раздаче от государства равным гражданам равных участков. «Но в Спарте были в VI—V веке богатые люди, — говорит Грот, — а спартанское богатство должно было состоять исключительно в земле, а не в деньгах», — почему же не могло состоять оно в награбленных у неприятеля драгоценных металлах, в скоте, рабах и т. д.? Что касается сомнений о дележе, основанных на молчании писателей до Полибия (во II веке до р. х.), они вовсе неубедительны; тем более, что беглые упоминания о равном дележе земли между спартанцами есть у Платона, Аристотеля, Исократ; а более подробных объяснений не могли и дать эти писатели, говорящие совершенно о других предметах. Наконец, самое сильное возражение Грота приводим собственными словами г. Леонтьева, чтобы показать, как оно шатко, несмотря на свое остроумие: «Очень может быть, что философ Сферос, друг и спутник Клеомена (предпринявшего новый раздел земли между обедневшими гражданами с целью возвратить Спарте прежнее могущество), был одним из первых, пустивших в ход эту гипотезу». Мы ничего не знаем о Сферосе, и предположение Грота чисто произвольно. Но как он хочет объяснить уверенность в разделе земли Ликургом мечтами Клеомена о возможности подобного дела, так мы объясняем недоверие самого Грота к известию, переданному Полибием и Плутархом, тем, что Грот, напитавшись мнениями английских современных экономистов о невозможности подобного дела в настоящее время, перенес их мнения на экономическое устройство эпохи, не имеющей в этом случае никакого сходства с нашим временем. Не подлежит сомнению, что в древности племена, поселяясь в завоеванной стране, делили землю между всеми воинами, участвовавшими в завоевании; так было везде. То же повторялось и в начале средних веков, когда разные германские племена завоевывали римские провинции. Поэтому нельзя сомневаться, что и дорийцы, завоевав часть Пелопонеса, разделили между собою землю. А как воины эти были равны между собою — равенство их постоянно оставалось существенною чертою спартанского устройства, — то, конечно, и участки были равны. Если б мы не знали этого о спартанском первобытном учреждении из положительных свидетельств, то должны были бы так предположить на основании того, что при подобных обстоятельствах то же явление бывало повсюду. Тем менее места сомнению, когда есть положительное свидетельство такого достоверного историка, как Полибий. Во-

обще, все изложение экономических учреждений в Спарте носит у Грота явные следы узкого понимания вещей под влиянием экономистов, занимающихся полемикой против разных современных идей. Он позабывает при этом о формах экономических отношений, преобладавших в патриархальном обществе, с которыми совпадает и учреждение, приписываемое Ликургу, и потому с его мнением невозможно согласиться. Все остальное в истории Спарты, как пересказывает ее г. Леонтьев, не представляет важных поводов к разноречию.

Но при самом начале Афинской истории Грот опять излагает гипотезу, едва ли справедливую. По греческим преданиям, пелазги, первоначальные жители Греции, были отличны от гелленов, пришедших впоследствии времени с севера. Ионийское племя, населившее, между прочим, Аттику, было гелленского происхождения. Мифически это выражается тем, что Ион был внук Геллена. Вообще у всех древних писателей геллены представляются народом, различным от пелазгов, и к гелленам, а не к пелазгам причисляются ионяне. Трудно найти факт в первобытной греческой истории, относительно которого свидетельства были бы так многочисленны и согласны. Но Грот, основываясь на том, что афиняне считали себя в Аттике туземцами, а не пришельцами, называет ионян пелазгами и считает их самым первобытным населением этой страны, хотя мнение афинян о том, что они жили в Аттике с незапамятных времен, нисколько не противоречит преданию о их гелленском происхождении, потому что пришествие гелленов в среднюю Грецию относится к глубочайшей древности. Гипотеза Грота совершенно произвольна. Можно доказывать родство всех гелленов с пелазгами; но странно отказывать ионянам в теснейшем родстве с ахейцами и дорийцами. Обыкновенно также думают, со времени Нибура, что ионяне завоевали Аттику и покорили прежних ее жителей. Грот также отвергает это мнение, основываясь преимущественно на том, что в числе знатных афинских родов есть многие, происходящие, по всей вероятности, от первобытных жителей страны. Но это не противоречит факту завоевания. Грот не сомневается в том, что спартанская область была завоевана дорийцами, которые покорили ахейн; между тем в числе спартанцев были роды не дорийского, а ахейского происхождения; даже спартанские цари, по его собственным словам, считали себя потомками ахейн, то есть покоренных туземцев, а не дорийцев, победоносных пришельцев. Из первобытной римской истории также видим, что некоторые роды из побежденного племени принимались в племя победителей. Другие возражения против последователей Нибура еще слабее. Так, например, мнение, будто бы ионийский диалект вернее других сохранил первобытную полноту гласных, совершенно несправедливо. Ионийский диалект более всех других уклонился от древних форм — это факт, не подлежащий сомнению. Здесь было

бы неуместно продолжать этот специальный разбор, слишком сухой. Но внимательное рассмотрение приводит к тому, что Нибурово мнение о завоевании гелленскими ионянами Аттики, населенной первоначально другим племенем, гораздо вероятнее гипотезы, отвергающей завоевание. Что же касается различия первобытных жителей от позднейших пришельцев ионян, в нем, кажется, невозможно и сомневаться. Вообще, вопросы о первобытной истории Грот излагает менее удовлетворительно, нежели о последующих временах. Он не имеет той гениальной проницательности, которая нужна для самостоятельных и прочных открытий в хаосе темных известий, и когда противоречит своим предшественникам, которые руководились удивительно глубокими соображениями Нибура, то обыкновенно приходит к предположениям, удовлетворительным менее, нежели выводы последователь Нибура. Г. Леонтьев справедливо говорит, что здравый смысл, которым отличается Грот, недостаточен для разъяснения мрака первобытной истории. Гораздо лучше его соображения о тех вопросах, разрешить которые можно и без помощи гениальности, одним здравым смыслом. Во всяком случае, сочинение Грота — единственная полная история Греции, написанная очень основательно и заслуживающая той известности, какую приобрела; если бы г. Леонтьев ограничивался только изложением того, что находим у Грота, он оказывал бы большую услугу русским читателям; но, присоединяя к изысканиям Грота свои собственные и знакомя читателей со всеми другими замечательными мнениями о спорных вопросах греческой истории, он еще более возвышает ученое достоинство своего труда. Именно в таких статьях нуждается русская историческая литература, и, конечно, все читатели «Пропилей» с самым живым интересом ожидают их продолжения.

Г. Куторга пишет очень мало, и нельзя не пожалеть о том. Конечно, исследования, им печатаемые, представляют новые решения очень важных и трудных вопросов, — и мы согласны, что такие произведения требуют слишком многих изысканий. Но положение нашей исторической литературы таково, что ученый, трудясь для движения науки вперед, может также посвящать некоторую часть своего времени и на такие труды, которые если не двинут вперед науку вообще, то будут совершенно новыми у нас. Исследование г. Куторги о Клисфене займет почетное место в общей европейской исторической литературе, объясняя один из главнейших фазисов развития афинского законодательства¹¹. В третьем томе «Пропилей» напечатана только первая часть этого труда: исследование о даровании гражданских прав метекам. Так как содержание этого трактата касается интереснейших сторон общественного устройства и так как г. Куторга излагает вполне справедливые, но еще очень мало известные у нас понятия о племенном быте, то представим здесь извлечение из его изыскания.

Сведений о преобразованиях, введенных Клисфеном в афинское законодательство по изгнании Пизистратидов, дошло до нас очень мало. Тем драгоценнее они, потому что Клисфеновы реформы составили чрезвычайно важную эпоху в развитии афинских общественных отношений. К числу немногих указаний о сущности этих реформ принадлежат слова Аристотеля: «Клисфен поместил в филы многих иностранцев и рабов метеков». Это место очень затрудняло ученых; выражение «рабы метеки» было непонятно, и темноту приписывали испорченности текста. Но эти исправления текста были несправедливы, как потому, что сами не представляли несомненного смысла, так и потому, что делались наперекор авторитету всех дошедших до нас рукописей Аристотеля. Потому г. Куторга, отвергая мысль о произвольных изменениях чтения, переданного всеми списками, делает попытку объяснить его без всяких исправлений, и для того в подробности разбирает смысл затруднительных выражений «поместил в филы» и «рабы метеки». Для этой цели ему необходимо было объяснить положение различных сословий жителей афинского государства; но <так> как скудные сведения, дошедшие до нас об этом предмете, вполне ясны становятся только при сличении их с фактами, известными нам об устройстве других племен, проходивших те же ступени развития, какие проходило афинское государственное общество, то г. Куторга излагает общий ход этого развития, следуя методу Нибура, доказательства которого дополняет результатами собственных исследований. Ясность и основательность всего этого разыскания дает нам возможность представить его в существенных чертах читателям, как пример удачного приложения сравнительного метода, столь необходимого для истории, особенно древнейшей истории, которая только при помощи его дает выводы прочные и чрезвычайно важные для понимания всех последующих явлений народной жизни. Введение этого метода в науку — одна из важнейших заслуг великого Нибура, и можно без преувеличения сказать, что степень умения прилагать сравнительный метод преимущественно должна измеряться способностью ученого с пользою исследовать темные, но важные времена первобытной истории. Прославленный метод Гримма в сущности есть тот же самый метод Нибура, только примененный более специальным образом.

Прежде всего надобно заметить, что в древних государствах все народонаселение разделялось по отношению к государственным правам на две неравные половины: людей, участвовавших в управлении государством, и людей, не имевших права ни подавать голоса в народных собраниях, решавших важные дела, ни делаться членами совета или, выражаясь римским термином, сената, управлявшего общим ходом текущих дел, ни отправлять правительственные должности. Подобное устройство видим в городах средних веков; в больших размерах почти то же замечаем

доныне в некоторых западных государствах, особенно в Англии. Общий ход государственного развития в государствах, внутренние силы которых увеличивались с течением времени, состоял в том, что постепенно это различие сглаживалось раздачею прав жителям, которые прежде лишены были участия в управлении. Так было и в Афинах.

Афиняне делились первоначально на четыре колена или «филы», имевшие племенное значение; здесь может возникнуть вопрос о том, все ли народонаселение афинского государства входило в состав этого деления, или только одни люди, участвовавшие в управлении. По мнению Нибура, разделяемому г. Куторгою, только эти люди. Но собственно об устройстве афинских первоначальных фил не дошло до нас точных известий, и Нибур основывает свое мнение на сравнении афинского общественного быта с римским; в Риме также были колена, состоявшие из родов, как и в Афинах, как и в большей части других древних государств; но в состав колен входили только члены класса, управлявшего государством. Г. Куторга подтверждает эту аналогию, показывая, что «быть приняту в состав филы» и «получить участие в государственном управлении» значит у греческих писателей одно и то же. Часть населения, лишенная прав, не входила в состав фил. Но каким же людям Клизфен дал право участия в филах, или в государственном управлении? Для определения этого опять надобно точнее припомнить общий ход развития гражданских обществ в древности и в начале средних веков, когда опять из племенного быта созидались государства. Везде мы видим, что первоначально участвовали в управлении государством только люди, имевшие поземельную собственность, и что с течением времени остальные классы народа приобрели участие в государственных правах, которые перестали быть неразрывно связаны с землею. Соединение государственных прав с поземельною собственностью произошло оттого, что первоначально была только общинная, а не частная поземельная собственность; земля принадлежала обществу, а не частным лицам, которым участки ее отдавались только в пользование: все, принадлежавшие к составу государственного общества, получали участки, не имели их только люди, не входившие в состав этого общества. Подобное тому устройство до сих пор сохранилось в нашем сельском быте. Точно так же делили землю между всеми членами дружины или общины германцы, занимая какую-нибудь область. Рабы и покоренные, конечно, не получали от завоевавшей общины этих участков, они также не имели и участия в государственном управлении. Мало-помалу участки эти сделались полною собственностью частных лиц; но попрежнему оставалось понятие и правило, что только люди, владеющие землею, — члены государственного общества. Так было повсюду у германцев, римлян и различных греческих племен. Так должно было быть и в Афи-

нах, что подтверждается общим сходством внутренней истории гражданских отношений в этом государстве с другими государствами.

Но с течением времени одни из владельцев богатели, другие — беднели, одни делались людьми могущественными, другие — слабыми, незащищенными. При самоуправстве и неопределенности отношений, чем всегда отличаются государства, еще не достигшие очень высокой степени благоустройства, бедные и слабые владельцы должны были терпеть очень много притеснений от соседей; для многих также были очень тяжелы государственные подати и повинности; что им оставалось делать? или продавать свои участки, или искать покровительства могущественных людей, которые защищали б их от притеснений, принимая известные права над их землею. Последнее явление встречаем повсюду. Так, в V веке по р. х., когда Римская империя разрушалась, когда безопасности было мало, и по внутренним беспорядкам, и потому, что германцы беспрестанно делали свои набеги, — в это тяжелое время мелкие свободные землевладельцы принуждены были искать защиты и помощи у богатых людей, которым передавались вместе с своим имуществом; таким образом образовался класс колонов или поселян, бывших во власти частных людей. Еще в обширнейших размерах происходило подобное явление во время распада империи Карла Великого. Беспорядки и погрязения этой тяжелой эпохи были так невыносимы для слабых, что «свободные люди, владевшие небольшими участками земли, обращались к более сильным, избирали их своими покровителями (*patronus*) и господами (*seigneur*) и давали им присягу в верности и покорности (*fidelitas et homagium*). Такое добровольное поступление одного лица в зависимость другого (*commendatio, recommendatio, traditio*) было признано правительством и сделалось государственным постановлением». Так произошел класс вассалов из свободных алодиальных владельцев, потомков германских воинов, получивших по жребию участки земли при завоевании страны. Можно прибавить, что до некоторой степени подобные явления встречаем и в смутные времена русской истории, когда поселяне и мелкие земледельцы «записывались» за бояр в монастыри, чтобы иметь от них защиту и участвовать в льготах, которыми пользовались их поместья и вотчины. — Теперь легко будет для нас убедиться в основательности объяснения, которое дает г. Куторга словам Аристотеля: «Клисфен дал право гражданства рабам метекам». Он полагает, что «метеками» назывались в Афинах «владельцы небольших участков, которые передались со всем своим поземельным имуществом другому лицу и поступили в число людей его». Правда, до сих пор, руководствуясь определением словаря Генриха Стефана, под именем метеков хотели ученые понимать иноземцев, поселившихся в чуждом государстве и постоянно живущих в нем под покровительством

законов, но устранившихся от участия в гражданских правах. Но это значение получено было словом метек уже в позднейшие времена, после Аристида, по предложению которого все свободные жители Аттики получили право гражданства. Но в старину это слово должно было относиться к туземцам, не имевшим гражданских прав; это ясно, во-первых, из того, что, относя его к иноземцам, прибавляют к нему эпитет «иностранец»; во-вторых, еще определительнее узнается основной смысл слова метек, когда сравним его с подобными ему «перияк» и «синек»: этими словами означались туземцы, не пользовавшиеся гражданскими правами и состоявшие под покровительством могущественных землевладельцев. Туземность древних метеков прямо подтверждается словами Исократы, говорящего, что они были «соотечественники» или «соплеменники» людям, имевшим гражданские права. Каким же образом произошел в Афинах этот класс людей свободных, но потерявших права? Точно так же, отвечает г. Куторга, как в Римской империи, в империи Карла Великого и проч. принужденные искать безопасности и льгот в покровительстве людей сильных, владельцы небольших участков передавались могущественным покровителям вместе с своею собственностью, отказываясь от звания самостоятельных владельцев и теряя через то гражданские права.

Если мы примем это объяснение, имеющее за себя, по нашему мнению, всю вероятность, то для нас будут совершенно понятны слова Аристотеля и коренное значение важных преобразований, сделанных Клисфеном в распределении государственных отношений в древней Аттике, также и общий ход событий, вызвавших эти реформы.

Подчиняясь богатым землевладельцам, говорит г. Куторга, метеки надеялись найти покровительство; но скоро покровители начали притеснять их, как это было и при распадении Римской империи, по рассказу Сальвиана. Бедные делаются еще беднее через покровительство, прибавляет этот писатель, объяснив, как слабые землевладельцы передавались могущественным; их принимают как людей, не принадлежащих к числу рабов, а владеют ими как своею собственностью, так что вольные люди обращаются в рабов. Так же точно и мелкие алодиальные владельцы средних веков, поступая в число вассалов, мало-помалу совершенно утрачивали личную свободу, превращались в рабов, как часто их и называли, несмотря на то, что по закону они не были рабами. «В таком же положении были афинские метеки. Они потеряли прежние права свои и стояли как бы в середине между свободными и рабами. Они были свободными метеками по своему происхождению, но рабами по положению в обществе. Этот класс людей и разумеет Аристотель под словом: рабы метеки». Но в Аттике были кроме этих туземных метеков другие метеки — иноземцы, поселившиеся в Афинах. Аристотель упо-

минает и о них. Потому слово метеки в его фразе надобно понимать относящимся и к слову «рабы» и к слову «иноземцы». Клисфен дал право гражданства метекам рабам и метекам иноземцам.

Нет надобности говорить о важности этого объяснения, открывающего указание на один из основных фактов внутренней истории Афинского государства, и мы совершенно согласны с мнением г. Леонтьева, что исследование г. Куторги приводит к результату, имеющему всю убедительность, возможную в подобных случаях. Строгая логичность выводов и основательность толкования древних свидетельств в этом разыскании равно замечательны. Мы не можем разделять мнений ученого исследователя только относительно одного пункта — оснований, по которым произошла неразрывная связь, существовавшая в первобытной государственной форме между званием гражданина, эвпатрида или патриция, и участием в общинной государственной собственности. Г. Куторга относит возникновение общинной поземельной собственности, раздававшейся во владение всем членам племени, к земледельческому быту, который признает первобытным: «нет никакого сомнения, говорит он, что первоначальное состояние человека было земледельческим, а рыбная ловля и охота занятием второстепенным и отчасти позднейшим. Многие писатели доказывали, что общество проходило разные степени, что человек сделался прежде всего рыболовом и охотником, познакомился потом с скотоводством и только впоследствии времени узнал хлебопашество. Этот систематический переход неестествен и совершенно противоречит сведениям о патриархальном быте, приобретенным в позднейшее время» — напротив, он совершенно подтверждается ими и совершенно естествен: ненатурально человеческому обществу дичать, естественно ему цивилизоваться. Предания всех народов свидетельствуют о том, что прежде, нежели узнали они земледелие и сделали оседлыми, они бродили, существуя охотою и скотоводством. Чтобы ограничиваться греческими преданиями и относящимися именно к Аттике, укажем на миф о Церере и Триптоleme, которого научила она земледелию, — очевидно, что по воспоминаниям греческого народа нищенское и грубое состояние дикарей охотников было первым, а с благоденствием оседлой земледельческой жизни познакомились люди уже впоследствии. Такие общие всем народам предания совершенно подтверждаются для всего европейского отдела индо-европейских племен исследованиями Гримма, которые справедливо считаются безусловно верными в своих главных выводах. То же самое прямым образом доказывают положительные факты, записанные в исторических памятниках; мы не знаем ни одного народа, который, став раз на степень земледельческого, ниспал потом в состояние одичалости, не знающей земледелия; напротив того, у многих из европейских народов достоверная история записала почти с самого начала

весь ход распространения земледельческого быта. К числу таких народов принадлежат германцы и отчасти славяне. Мы выставаем наше несогласие с этим положением г. Куторги, между прочим, именно потому, что вывод, изложенный нами и не подлежащий сомнению после новейших исследований, гораздо сильнее подтверждает его справедливый взгляд на государственное значение поземельной собственности, нежели теория, будто бы земледельческий быт есть первоначальное состояние народа. Частная поземельная собственность была необходимым условием государственных прав потому, что произошла из общинной собственности, которою пользовались все лица, составлявшие племенное общество, и не пользовался никто, не принадлежащий к этому обществу (роду, колену, племени); а общинная собственность — существенная принадлежность не земледельческого, а бродячего, пастушеского или звероловческого быта. У пастушеских народов, беспрестанно перекочевывающих с места на место, личная поземельная собственность недостаточна, стеснительна и потому не нужна. У них только община (племя, род, орда, улус, юрта) хранит границы своей области, которая остается в нераздельном пользовании у всех ее членов; отдельные лица не имеют отдельной собственности. Совершенно не то в земледельческом быте, который делает необходимою личную поземельную собственность. Потому-то от кочевого состояния ведет начало связь земли с племенными и, впоследствии, с государственными нравами. Таким образом, новейшие изыскания, доказывающие, что европейские народы сначала были звероловами и пастухами и только в позднейшие времена сделались земледельцами, как нельзя лучше подтверждают гениальные открытия Нибура о племенном устройстве, принимаемые г. Куторгою. Эти изыскания также совершенно подтверждают другую основную мысль, принимаемую г. Куторгою, — мысль об одинаковости племенного устройства у всех народов, проходящих первые ступени исторического развития. Мы имели случай говорить о том, что значение исторической филологии преувеличивается ее исключительными поклонниками¹²; говорили даже, что тех же самых выводов, какие получены ею, можно было бы достичь менее утомительным путем — изучением быта диких и полудиких племен, существующих доселе. Но, во всяком случае, выводы уже получены, и нет возможности сомневаться в их основательности. Потому нет сомнения, что если бы Нибур жил в настоящее время, то он воспользовался бы трудами Гримма, как драгоценнейшим пособием для своих изысканий. Нам кажется, что они дали бы прочную опору и понятиям о поземельной собственности, на которых основывается у г. Куторги объяснение Клисфеновой реформы. Как бы то ни было, нельзя, однако, не повторить, что это объяснение, сделанное с замечательною проницательностью и несомненною ученостью, должно быть считаемо одним из капитальнейших трудов,

какие только появились в последнее время для объяснения развития гражданских отношений в Афинской истории.

Статья г. Грановского «Чтения Нибура о древней истории», подобно статьям г. Леонтьева о сочинении Грота, представляет извлечение, сопровождаемое критическими замечаниями о тех положениях автора, которые кажутся несправедливыми излагателю. Г. Грановский передает мнения великого историка о главных событиях и действующих лицах греческой истории до конца пелопонесской войны; и мы не ошибемся, сказав, что эти статьи наших ученых принесут наиболее пользы читателям «Пропилей» и будут почти всеми считаемы лучшим украшением рассматриваемых нами томов этого сборника. Такие трактаты, как исследование г. Куторги о законодательстве Клизфена или переведенное в IV томе «Пропилей» сочинение покойного Д. Л. Крюкова «О первоначальном различии римских патрициев и плебеев в религиозном отношении», находят себе у нас мало ценителей и остаются в русской литературе одиночными явлениями, имеющими более внутренней значительности, но не внешнего значения для читателей, за исключением, быть может, десяти или двадцати человек. Напротив, сочинения, соединяющие ученую основательность с подробным изложением общеизвестного в науке, но представляющегося новым в нашей литературе, если не прославят своих авторов, то будут истинно полезны. Мы не будем распространяться о достоинствах статьи г. Грановского, потому что в этом случае нас предупредили отзывы всех рецензентов, разбиравших третий том «Пропилей», и займемся сочинением Крюкова, являющимся теперь в русском переводе¹³.

Крюков не успел оставить после себя много сочинений; да и те немногие, которые окончены им, должны быть названы скорее отрывками (как, напр., статья о трагическом характере истории Тацита, помещенная в «Москвитянине») или, как сочинение, переведенное теперь в «Пропилеях», опытами, которые были бы только предшественниками трудов более обширных и глубоких, если бы смерть не отняла так рано у науки замечательного исследователя, у русского ученого сословия — профессора, который в немногие годы сделал так много для водворения классической филологии в России. Судьба Крюкова была подобна судьбе Ливовского, Лунина, Прейса, которые умерли почти в самом начале своей прекрасной и плодотворной деятельности, оставив по себе незабвенную память во всех, знавших по личным сношениям, какую колоссальную ученостью, глубокомыслием и страстную любовь к своей науке были одарены эти люди, от которых мы ожидать столь многого и которые ушли от нас, не совершив и сотой части того, что совершили б, если бы жизнь их продлилась хотя двадцатью, хотя десятью годами. Скорбно чтим мы память этих рано угасших деятелей науки и с печальным благоговением смотрим на их труды, которые так много обещали в бу-

душем. С этим чувством мы приступаем и к изложению «Мыслей о первоначальном различии римских патрициев и плебеев в религиозном отношении» — не с тою целью, чтобы показывать, почему идеи Крюкова об этом предмете не утвердились в науке, а единственно в намерении познакомить с глубокомыслием и ученостью покойного исследователя тех читателей, которые не захотят следовать за автором в лабиринт специальных изысканий и подробностей, из которого извлекает он свои мысли. Мы хотим не анализировать мысли Крюкова с критической точки зрения — это уже давно сделано для специалистов первоклассными немецкими учеными, удостоившими большого внимания труд, изданный для них, а считаем своею обязанностью распространить ближайшее знакомство с исследованием Крюкова и его достоинствами.

Тот самый процесс постепенной раздачи гражданских прав классу населения, первоначально лишенному их, какой видим в Афинской истории, составляет существенное содержание и внутренней истории римского государства, в источниках которой записан он гораздо полнее и яснее. Но все летописцы и историки, отрывки которых дошли до нас, принадлежат уже тому времени, когда первый период борьбы между патрициями и плебеями окончился, и различие между этими двумя первобытными классами римского населения относительно гражданских прав исчезло. Потому они в своих известиях довольно часто смешивают понятия, относящиеся к различным эпохам, и истинные черты различия между плебеями и патрициями при возникновении римского государства могут быть восстановлены только при пособии критики. Обыкновенно думают, со времен Нибура, что существенное различие между патрициями и плебеями состояло в государственных правах. Победители (патриции) не могли слиться с побежденными тотчас же после победы над ними, не приняли их в свой колена и роды (*сигia* и *gens*) и не дали им никакого участия в государственном управлении, принадлежавшем исключительно членам господствующего племени, входившим в состав патрицийских колен и родов. Из этого основного различия проистекало и религиозное различие: поклонение известным богам, покровителям государства, принадлежало исключительно господствующему племени, потому что эти боги были боги владычествующего племени, чуждые покоренному населению. Потом, когда сблизилась побежденные с победителями в политических правах, когда государственные права стали принадлежать всем свободным туземцам города Рима, и поклонение государственным богам сделалось общим для всех, участвовавших в государственных правах.

Крюков, напротив того, различие между патрициями и плебеями основывал преимущественно на религиозном их единстве и считал остальные государственные права их уже второстепенным следствием участия в общей патрицийской религии. Этим,

однако, еще не вполне определяется отношение его понятий к обыкновенному воззрению на первобытное различие между патрициями и плебеями. Обыкновенно думают, что только между патрициями существовало религиозное единство, происходившее от общего поклонения государственным богам (богам первоначальных патрицийских племен), между тем как плебеи, сведенные в Рим из различных племен, не имевших между собою ничего общего, не имели и общего религиозного поклонения, пока не приобрели религиозного единства через приобретение участия в государственной религии. Напротив, по мнению Крюкова, вместе с общей патрицианскою религиею первоначально существовала в Риме и общая плебейская религия и только впоследствии патрицианская религия сначала подавила ее на некоторое время, потом слилась с нею. Из самого изложения этих понятий в исследовании Крюкова мы увидим, на каких предположениях они основаны, увидим также и степень их убедительности; но с тем вместе убедимся, каким глубоким знакомством с классическою древностью обладал покойный наш ученый, столь рано отнятый смертью у русской филологии, как самостоятельны были его изыскания в древних писателях и какую замечательною силою мысли был он одарен.

«Римские патриции говорят о себе, уже при первых зачатках Рима, как о племени издревле оседлом и живущем в племенном или родовом быту, — начинает он свое исследование. — Они ставят себя таким образом в противоположность плебеям, чуждым всяких родовых связей», — то есть, не имевшим общего племенного единства. Отчасти эта разрозненность происходила от разноплеменности; но даже и племенные отношения тех плебеев, которые до покорения патрициями или до прихода своего в Рим (если предположить, что были также плебеи, поселившиеся в Риме добровольно, — предположение сомнительное) были в племенном родстве между собою и имели родовой быт, не были признаваемы государством, состоявшим первоначально из одних патрициев. «Но, — продолжает Крюков, — органическое единство, которое усваивается патрициям, могло принадлежать им только в духовном смысле, а не в смысле однокровности, потому что и патрицийское общество произошло посредством разнородных переселений в Рим. Многие роды патрициев были, очевидно, чуждого происхождения. Потому они были связаны между собою только нравственными узами; по всей вероятности, религиозное родство соединяло их». Об этом можно заключить из способа принятия в патрицианскую общину. Оно совершалось посредством кооптации; «но так как этот акт был в употреблении при принятии в какую бы то ни было жреческую общину, то отсюда мы без сомнения вправе предполагать совершенное единство религии». Таким образом, патриции отличались от плебеев религиею. Доказательством тому служит первобытное восприятие брачных

связей между патрициями и плебеями. Древние писатели говорят, что позднейшая римская религия произошла через слияние двух различных религий, из которых одна чтит богов под символическими изображениями, другая имела идолов. Первоначально римляне, по единогласному свидетельству Варрона, Плиния, Плутарха, Тертуллиана, не знали идолов, служение которым явилось, по словам Варрона, из Этрурии, во время Тарквиния старшего. Но эти известия, по мнению Крюкова, не совершенно точны в том отношении, что считают символическую религию единственно древнейшею, а введение изображений богов приписывают позднейшим временам. Этрусский элемент существовал в Риме еще до Тарквиния; потому, считая символическую религию принадлежащею латинам, а поклонение изображениям богов — этрускам, надобно допустить, что обе различные религии существовали в Риме одновременно. Следы противоположности этих элементов сохранились и в позднейшем римском богослужении, которое образовалось из их слияния. «Если мы спросим, в каком же отношении находились они первоначально к двум различным частям римского народа, патрициям и плебеям, мы невольно должны предположить, что первоначальные различия религии могли совершенно совпадать с различиями самого народа». Потом Крюков доказывает, что патриции оставались чужды всякой этрусской примеси, а в плебейх был силен этрусский элемент. После того становится для него очевидным, что происшедшая из Лациума символическая религия была патрицианскою, а этруская религия, имевшая изображения богов, принадлежала плебеям. Нет надобности говорить, что это мнение основано на предположениях, которым противятся самые основные факты римской первобытной истории. Если — с чем соглашается сам Крюков — плебеи были разноплеменного происхождения, то у них не могло быть общей религии, пока они, вместе с другими гражданскими правами, не получили и права считать государственной религии (принадлежавшей прежде, как и все другие государственные учреждения, одним патрициям) своею религиею. Итак, первоначальное религиозное различие между патрициями и плебеями состояло не в том, что одни имели одну, другие — другую религию, а в том, что патриции имели богослужение, признанное государственным, а плебеи не имели в нем участия. Точно так же мы знаем, что это различие было только одним из следствий совершенного отчуждения плебеев от всех государственных прав; и это отчуждение основывалось на том, что патриции имели свое родовое и племенное устройство, а плебеи не были приняты в состав их родов и колен или курий. Что же касается вопроса о патрициях, переселившихся в Рим из других племен, то они именно через то и стали патрициями, что были приняты в состав патрицийских племен посредством кооптации — учреждения, дававшего вообще участие в правах племени, а не исключительно только в

богослужении. Что патриции были несколько не чужды этрусскому влиянию, доказывается множеством государственных учреждений, существовавших в Риме тогда, когда еще одни только патриции составляли государство. Так, например, сам Крюков говорит, что устройство войска у римлян было чисто этрусское. Точно так же нельзя противопоставлять плебеев, как этрусков, патрициям, как латинам, потому что в плебейх, как и в патрициях, преобладал латинский элемент, с чем согласен и Крюков. Вообще, Крюков не успел своим исследованием доказать понятий, им принимаемых. Остается несомненным, что различные системы языческого богослужения — одна, не имеющая статуй и почитающая богов под видом разных символов или фетишей — оружия, камней и т. п., другая, имеющая статуи, принадлежат различным степеням развития; сначала возникает фетишизм, потом, с возвышением образованности, фетиши вытесняются статуями. Римские писатели свидетельствуют, что и в Риме было точно то же и что два различные поклонения, о которых говорит Крюков, явились не в одно время, а сначала служение символам (фетишам), потом статуям. Крюков сам, кажется, чувствовал, что его доводы, опровергающие этот факт, не вполне убедительны. По крайней мере он заключает свое исследование словами: «Если еще остается некоторое сомнение (в том, что символическое служение принадлежало патрициям, а этрусское — плебейам), то оно решительно уничтожится при рассмотрении первоначального отношения плебеев к патрициям и царя (Рex) к обоим. Это будет предметом особенного рассуждения, в котором мы попытаемся также представить историю борьбы и взаимного слияния обеих религий». Но издать это обещанное дополнение не суждено было Крюкову, и его мысли остались недосказанными. Потому-то было бы и несправедливо слишком долго останавливаться на возражениях им. Но по крайней мере одно успел доказать Крюков своим исследованием: то, что у него был богатый запас классической учености и сила мысли, могшая обнимать тысячи запутанных, противоречащих друг другу фактов и в строгой системе подводить их под общую точку зрения.

Затем должны мы говорить о прекрасной третьей статье г. Кудрявцева: «Римские женщины по Тацит. Агриппина младшая и Поппея Сабина»¹⁴. Мастерской, можно сказать красноречивый, рассказ, сила и верность в обрисовке характеров делают эту статью вполне достойной двух предыдущих. Мы желали бы выписать несколько страниц из художественного рассказа г. Кудрявцева — потому что это было бы единственным средством познакомиться с достоинствами его тех из наших читателей, которые не имели еще случая прочитать самой статьи, — но этим нарушалась бы строгая связь развития драмы, которую пересказывает нам автор, следуя своему великому руководителю, и мы скажем только, что немногие романы имеют такую завлекательность,

как история Агриппины и ее соперницы, и что г. Кудрявцев умел и понять и изобразить эту кровавую историю с искусством истинного художника.

Интересна и статья г. Бабста: «Антоний и Клеопатра»; лучшими ее страницами показались нам те, в которых рассказывается обаятельное влияние Клеопатры на любовника, которого довела она до гибели и которого так бесстыдно хотела покинуть, чтобы броситься в объятия Октавиана. Быть может, некоторые читатели с удивлением услышат, что Клеопатра, которую привыкли по преданию считать идеалом красоты, была очаровательна не красотой, а умом и изысканнейшим кокетством: «Мы имеем положительные известия, — говорит г. Бабст, — что она была нехороша собою. Но ее вкрадчивые речи, ее страстный взор, обольстительная игра глаз, неподражаемая грация в каждом движении очаровывали всех невольно. Она обладала необыкновенным даром поддерживать страсть всеми средствами, какие имеет в руках ловкая, умная и кокетливая женщина».

Просматривая статьи, помещенные в третьем и четвертом томах прекрасного издания г. Леонтьева, мы обращали наибольшее внимание на те сочинения, которые содержат в себе новые и самостоятельные решения важных спорных вопросов древней истории; но из этого не следует, чтобы мы ниже их ценили другие статьи, задача которых состоит в изложении на русском языке того, что, будучи уже хорошо известно специалистам, может быть еще не вполне знакомо многим из русских читателей. Таково положение критики, что она может распространяться только о том, что представляет какие-нибудь стороны, требующие объяснений или замечаний; о ясном и несомненном в науке она говорит только: «это совершенно справедливо и хорошо изложено». Но если мы не находили удобным останавливаться в отдельности над каждой из статей, имеющих целью распространение в русских читателях знакомства с историей и бытом древнего мира, то вообще мы должны сказать, что именно на этих-то статьях и основано то высокое значение, какое имеют «Прописки» в русской литературе. Желает видеть в пятом томе, которого с нетерпением ожидаем, столько же таких статей, сколько было их в третьем томе.